

“ПОЛУМИРЫ” И “ГОРИЗОНТЫ” В РОМАНЕ А. ПЛАТОНОВА “ЧЕВЕНГУР”

В настоящей статье рассмотрен вопрос, который представляется важным для характеристики мировосприятия Андрея Платонова: речь пойдет о проблеме соотношения между “тем” и “этим” миром в художественных произведениях писателя. Данной темы касается, например, Евгений Яблоков¹; в качестве одного из эпиграфов к своей книге “На берегу неба” исследователь цитирует слова из платоновской пьесы “Шарманка”: “О, господи, господи, хоть бы ты был, что ли!”² Фраза эта весьма характерна: персонаж драмы доходит до идеи веры, даже до желания верить — но все же не делает последнего шага; и дело не просто в его нерешительности, а в установке самого Платонова. Как подчеркивает Яблоков, “автор “Чевенгура” ставит своих героев на грань обыденного и запредельного, однако не позволяет преодолеть ее, неизменно возвращая события в рамки “земной” логики”³. Обратим внимание на ряд фрагментов платоновского романа, имеющих отношение к данной теме: речь идет об образе бытия, поделенного “пополам”, и образе горизонта.

Трижды — и всякий раз мимолетно — в “Чевенгуре” упоминается некая “половина мира”. Читатель может ожидать, что наш загадочный автор сообщит впрямую нечто о потусторонней, трансцендентальной стороне бытия — то есть и о *другой* его “половине”. Однако всякий раз оказывается, что идти дальше постановки этого вопроса писатель не желает.

1. 1. Первый пример — короткое предложение, значимость которого “маскируется” тем, что оно фиксирует паузу между двумя мыслями Александра Дванова: “Он сделал головою полукруг и оглядел половину видимого мира” (103⁴).

Ни с того ни с сего повествователь “Чевенгура” заставляет читателя осознать, что “пределы” зрения человека зависят от положения его глаз. В принципе совершенно ясно, что мы всегда видим только половину (или даже меньше) той панорамы в 360°, которую потенциально можно наблюдать из данной точки пространства; однако способ, каким введено данное замечание у Платонова, делает его странным и эксцентричным — хотя бы потому, что тут никак не выражено отношение повествователя к сообщаемому факту (ср.: “оглядел, *увви, лишь половину мира*” — или же, напротив: “оглядел *целые полмира*”). Вследствие такой вызывающе-странной формулировки трудно отделаться от мысли, что, по мнению платоновского повествователя, действительно возможно видеть *обе* “половины” сразу, одновременно. Если Дванов и до поворота головы был не в состоянии видеть больше одной “половины” мира, то почему же об этой “ограниченности” упомянуто именно в связи со сделанным им движением? Возникает вопрос: не способен ли герой узреть сразу *целый* видимый мир? Читатель уже знает, что Дванов “в своем ясном чувстве имел новый свет” (77), — а впоследствии будет рассказано и о том, как он нарисует для памятника революции символ вечности в сочетании с символом бесконечности; может быть, платоновский герой знаком с этими понятиями глубже, чем “обычные” люди? К тому же повторение части слова “пол-” в стоящих рядом и ритмически сходных словах *полукруг* и *половину* вызывает “нелогичную” идею, что из сложения этих двух “полу”-слов как раз и получится одно “целое”.

Помогает ли в наших размышлениях контекст? Непосредственно *перед* процитированной фразой Дванов размышляет (это передано несобственно прямой речью), что “лишь слова обращают текущее чувство в мысль”, что “беседовать самому с собой — искусство, беседовать с другими людьми — забава” и что (эта часть вдруг передана в форме прямой речи) “оттого человек идет в общество” (103). Еще раньше говорится, что герой хочет, но не может возратить слова в “песню” природы, потому что слышит в ней “движение, не похожее на его чувство сознания” (103). А еще перед этим идут слова повествователя,

венчающие эпизод встречи Дванова с человеком, называющим себя Богом: слова о том, что русский — это человек “двухстороннего действия”. (102)

Непосредственно же *после* процитированной фразы герой думает (вновь идет несобственно прямая речь), что природа не только поэзия, но и “деловое событие” (103).

Сложный, богатый идеями и ассоциациями контекст наполнен заметным многоголосием: тут звучат и голос повествователя, и внутренний голос Дванова, и его “внешняя” речь, и то, что слито в несобственно прямой речи, — “совместные” размышления героя и повествователя. Тут и намек на слышимый, хотя и непонятный, голос как бы самой природы или воздуха. А “посреди” всех этих голосов совершается одно “безголосое” телесное движение: герой молча оглядывается. Складывается впечатление, будто на фоне множества примеров двойственности и противоречий (чувство и мысль, искусство и забава, природа и сознание, — и вообще “двухсторонние действия” человека) сообщается самая “простая” мысль о чем-то “недвойственном”, о какой-то *цельности*. Не исключено также, что своим “тихим”, ничего “не говорящим” движением головы Дванов как раз и повторяет то движение, “не похожее на его чувство сознания”, которое он ощущает в природе. Заметим, что на предыдущей странице после эпизода с “Богом” слова про “двухсторонность” продолжают утверждением: “он [русский] может жить и так и обратно и в обоих случаях остается цел” (102). Надо полагать, что с этим утверждением связаны и двановское видение “половины мира”, и возникающая при этом мысль о возможности видеть обе половины.

1. 2. Следующий пример — сцена первой встречи Дванова и Гопнера с Чепурным, которые, только что познакомившись, идут ночью по улице. Повествователь здесь замечает: “Бывает хорошо изредка пропускать ночи без сна — в них открывалась Дванову невидимая половина прохладного безветренного мира” (192).

Перед этим впервые упоминается город Чевенгур, в котором окончилась история и начался коммунизм. Хотя Дванову “понравилось слово Чевенгур” (192), герой тем не менее намерен остаться в большом городе, чтобы закончить политехникум. Таким образом, сопоставляются два жизненных направления, доступные Дванову: с одной стороны, “влекущий гул неизвестной страны” и поиски родного отца, а с другой — дом, политехникум, приемный отец.

Прочитанная фраза намекает на что-то общее, странное и не совсем завершенное. Неудивительно, что без луны ночь темна. Но удивительна мысль, что ночной мир есть невидимая половина мира: он начинает казаться уже не просто нашим знакомым (только потемневшим) миром, а откровением чего-то невидимого днем — так что цельное бытие, кажется, состоит одновременно из всегда видимой и всегда невидимой частей. (Тут чувствуется сильное напряжение между словами “невидимая” и “открывалась”, так как в других контекстах “открывалась” значило бы — “становилась видимой”.)

И еще загадка: что именно названо здесь “прохладным и безветренным”? Имеются ли в виду *обе* половины мира, из которых обычно (т. е. днем) только одна видима, — или подразумевается лишь та его половина, которую мы обычно видим (между тем как теперь, ночью, узнаём другую)? Вопрос остается открытым; вновь цитируем Яблокова: “У Платонова нет мистического расчленения мира на “посюстороннее” и “потустороннее” существование; жизнь — это бытие, постоянно вопрошающее себя о себе самом”⁵.

1. 3. Третий пример Дванов видит во сне своего умершего отца; тот нежно улыбается ему, мальчику, хотя его “лодка-душегубка качается от чего попало — от ветра и от дыхания гребца”: “Особое, всегда трудное лицо отца выражало кроткую, но жадную жалость к половине света, остальную половину мира он не знал, мысленно трудился над ней, быть может, ненавидел ее” (247). Сойдя с лодки, рыбак обнимает сына и смотрит “на близкий мир как на своего друга и сподвижника в борьбе со своим никому невидимым, единственным врагом”.

Именно в этой сцене отец велит Саше идти в Чевенгур и там “делать что-нибудь”: “Зачем же мы будем мертвыми лежать?” (248) Почти по всем признакам ясно, что словосочетание “остальная половина мира” означает ту часть существования, которая известна умершим: одна половина — жизнь, другая — то, что находится за ее гранью. Отец жалеет мертвых и (может быть) ненавидит смерть, считая ее своим врагом, потому что, в сущности, смерть неприемлема.

Описание спокойного и доброго человека в лодке, раскачиваемой ветром, напоминает образ Христа из Евангелия. Тожествен ли в восприятии Дванова его отец — Христу? В этой связи возникает еще один вариант толкования: “остальная половина” — это, может быть, та половина света, которую Христос обещал нам как спасение. Отец же, хотя и подобный Христу, по противоречивой логике сновидений может ненавидеть ее как нечто мистическое, нереальное: сам он ищет спасения на здешней земле.

Уже повествование о необычном самоубийстве рыбака в начале романа не лишено двусмысленности. Рыбак утопил себя в надежде найти “другую губернию”, которая “расположена под небом, будто на дне прохладной воды” (27). Более “естественным” было бы утверждение, что “другая губерния” расположена *на дне, будто под небом* (ведь персонаж бросается в воду); но платоновский повествователь дает обратное сравнение. Таким образом возникает идея некой “взаимозаменяемости” неба и воды; к тому же Саша вскоре будет показан “на берегу небесного озера” (43). И остается открытым вопрос: на что надеялся рыбак — на лучшую страну земную или небесную?

1. 4. В четвертом примере уже нет слова “половина”, однако и здесь писатель создает у нас впечатление о двух мирах, тесно связанных между собой. К концу действия романа ослабевает светило коммунизма — солнце, и возникает ряд “лунных” эпизодов: зрелище озаренных “светилом одиноких, светилом бродяг, бредущих зря” (329). В частности, встречаем такую фразу: “Свет луны робко озарил степь, и пространства предстали взору такими, словно они лежали на том свете, где жизнь задумчива, бледна и бесчувственна, где от мерцающей тишины тень человека шелестит по траве” (329).

При переводе этой фразы на английский платоновская двусмысленность особенно заметна. Первое употребление слова “свет”, несомненно, требует английского “light” (сияние); второе же следует столь близко за первым, что почти кажется возможным толковать и его в значении “light”, причем сопутствующее слово “тот” (“на *том* свете”) кажется указанием на “то” слово, которым начинается предложение (то есть по смыслу фактически приближается к слову “этот” — ср.: “этот самый”). Если переводчику важно сохранить повторяющееся слово (в данном случае — “свет”), то он может предложить два варианта перевода:

а) “The light of the moon <...> lying in that light” (Сияние луны <...> словно они лежали в том сиянии), — при этом читателю будет понятно, что “другого” мира не существует, а есть только обманчивое действие лунного света;

б) “The world of the moon <...> lying in the other world” (Мир луны <...> словно они лежали в другом мире) — в этом случае оказывается, что “другой” мир существует и луна предстает его знаком.

Как бы то ни было, мы так и не можем в итоге однозначно ответить на вопрос, подразумевают ли слова “тень человека” *действительное присутствие* человека или нет. Вновь наталкиваемся на границу, через которую невозможно переступить и приходится лишь остановиться перед ней в глубокой задумчивости.

2. 1. Если с Двановым связан образ “половины мира”, то с другими персонажами “Чевенгура” связывается образ *горизонта*. Что касается Дванова, который “в своем ясном чувстве уже имел тот новый свет”, то для него горизонт — это символ не бесконечного и невозможного а, скорее, чего-то исполненного, совершенного: “как конец миру, вставал дальний тихий горизонт, где небо касается земли, а человек человека” (149).

На Дванова редко смотрят другие персонажи, и очень показательно, что в одном из этих редких мест в романе он представлен как стоящий “среди горизонтов” (а совсем не как стремящийся к горизонту). Уходит мальчик Саша ранним утром побираться в чужом городе, издали наблюдает его Прохор Абрамович, и тут в пределах двух фраз *четырежды* упоминается о горизонте. Вначале возникает образ, напоминающий уже знакомую “невидимую половину” мира: “На высоте перелома дороги на ту, невидимую, сторону поля...”; затем звучит идея временной границы: “в рассвете будущего дня”; в-третьих, говорится о “черте сельского горизонта”; в-четвертых, Саша показан “на берегу небесного озера” (43).

Остальные персонажи — пешком, бегом, верхом, мысленно — ищут горизонт. Так, при первой встрече Копенкина с Чепурным даже лошадь ощущает “горизонт” мира: “Была ли дорога под конем или нет — не видно; лишь край земли засвежел светом, и Пролетарская Сила хотела поскорее достигнуть того края, думая, что туда и нужно было Копенкину. Степь нигде не прекращалась, только к опущенному небу шел плавный затяжной скат, которого еще ни один конь не превозмог до конца” (201). Между опущенным небом и скатом лежит идея горизонта, и когда Копенкин вдруг видит, как “посреди полосы света стоял далекий отчетливый человек” (201), то этот человек (Чепурный) кажется ему стоящим на горизонте, хотя в действительности это совсем не так.

В течение романа о горизонте упоминается неоднократно: так, Копенкин замечает, что “из-за перелома степи, на урезе неба и земли, показались телеги” (205); Чепурному становится видно, как “в потухающей дали ехал на телеге какой-то беспокойный человек и пылил в пустоте горизонта” (251). Но ярче всех других примеров — эпизод с “высоким человеком”.

2. 2. “По горизонту степи, как по горе, шел высокий дальний человек, все его туловище было окружено воздухом, только подошвы еле касались земной черты, и к нему неслись чевенгурские люди. Но человек шел, шел и начал скрываться по ту сторону видимости, а чевенгурцы промчали половину степи, потом начали возвращаться — опять одни” (340).

Здесь в миниатюре заключена вся платоновская способность намекать на возможную трансцендентальную тайну и в то же время ставить ее под вопрос. Уверенный тон описания вроде бы не оставляет места для сомнений: в отсутствие слов “казалось” или “будто бы” читатель склонен воспринимать “высокого дальнего человека” столь же реально, как и “чевенгурских людей” (которые “несутся” к горизонту точно так же, как незадолго перед тем бежали в степь вслед за катящимся “баком”). Впрочем, почему бы и не считать фигуру на горизонте действительно человеком? Хотя странное описание “все его туловище было окружено воздухом” означает, что речь идет, скорее, о летящем ангеле, однако, если вдуматься, тело идущего (и не только) человека и в самом деле всегда “окружено воздухом”, так что вся странность (и остранение) является лишь следствием “избыточности” информации, проистекает из упоминания обычно не упоминаемого факта. Точно так же не менее странные (внешне) слова “начал скрываться по ту сторону видимости” (которые, кстати, тоже напоминают о двух “половинах” мира⁶), внушающие читателю представление о каком-то неизвестном измерении, все же нетрудно воспринять как описание вполне “жизнеподобной” ситуации: “высокий человек” становился постепенно невидимым просто потому, что удалялся от наблюдателя.

Однако, делая вывод, что речь идет о вполне “нормальном” человеке, мы должны были бы забыть, что горизонт вообще не является конкретной линией, по которой возможно ходить; кроме того, горизонт всегда слишком далек, чтобы можно было различать рост человека, находящегося на этой линии (тем более — чтобы говорить о его “подошвах”!). Таким образом, чевенгурцы видят то, что видеть невозможно, поэтому мы и не можем знать, мираж это или появление реальной фигуры.

Возникает и вопрос о личности этого (мнимого или реального) существа: кто это может быть? Ленин? Идеальный коммунист? Или же — что более вероятно в свете повторного мотива “Второго Пришествия Бога” — Иисус Мессия? А может, вечный странник Агасфер — герои

Платонова, правда, о нем не знают, но читателю “Чевенгура” известно про сочиненную Мрачинским книгу “Приключения современного Агасфера”, где есть некий “человек, живущий один на самой черте горизонта” (107). По легенде, Агасфер желает конца времен — не тот ли это самый “всему конец”, которого чаёт и Чепурный? Будучи наказан Богом, Агасфер никогда не сможет добиться цели; не устремляются ли, таким образом, чевенгурцы к своему подобию?

Июль 2002

Примечания

¹ См.: Яблоков Е. А. На берегу неба: Роман А. Платонова “Чевенгур”. СПб., 2001. С. 10.

² Платонов А. Взыскание погибших. М., 1995. С. 581.

³ Яблоков Е. А. Указ. соч. С. 10.

⁴ Текст романа (с указ. стр.) цит. по изд.: Платонов А. П. Чевенгур. М.: Худ. лит., 1988.

⁵ Яблоков Е. А. О философской позиции А. Платонова: Проза середины 20-х — начала 30-х годов // Russian Literature (Amsterdam). 1992. V. 32. P. 234.

⁶ Интересно, что слово *половина* (ср.: “половина степи”) встречается в этой фразе без всякой “внешней” необходимости, является лишь гиперболой — и в этом смысле напоминает прежние примеры.